

Русск. мысл. - парцелл.
- 1996. - 12-18 сент. - с. 10-11.

Первая встреча

Глава из неопубликованной книги

Окончание. Начало в «РМ» №4139.

Ко времени приезда нашей героини в Париж окончательно сложилась репутация Большого Монпарнаса, а крошечный бар “Ротонда” обзавелся красивым залом (точность сообщения — на совести Анри Раме и его записок “Тридцать лет Монпарнаса”).

Впрочем, очень скоро и в этом зале стало тесно, шумно и накурено, как в каком-нибудь английском пабе. В самые бойкие часы, с пяти вечера до полуночи, здесь нелегко было найти место за столиком. Одни со стаканами в руках стояли вокруг стойки, оживленно о чем-то споря, другие деловито пробирались между спинами, стараясь не расплескать ненапроком свои и чужие стаканы.

Были тут заезжие новички-иностранцы, но по большей части все же были свои, завсегдатаи — художники, скульпторы, поклонники искусства, они же зачастую и торговцы-маршаны, поэты, актеры и актрисы, будущие знаменитости (“будущих” вообще было много), журналисты, манекенщицы и прочий богемный люд, “монпарно”.

Конечно, попадались также разных стран и национальностей политики, тоже пока мало кому известные — скажем, бывал Лев Троцкий с мексиканским другом своим, кубистом Диего Риверой, которому суждено было стать у себя в Мексике большой знаменитостью.

Интересно, что чувствовал поэт и ясновидец Гумилев, сталкиваясь у стойки с одним из будущих своих палачей — Троцким? Да и сам-то Троцкий мог ли разглядеть очертания будущей российской своей карьеры и страшного своего конца (да еще и не в России, а в Мексике его друга Диего Риверы), разглядеть в веселой гомонящей толпе у стойки тех, кто предадут его другому бандиту из их шайки?

Куда там... никто ничего не почувствовал, не разглядел, на дворе стояла еще только весна 1910, славная предвоенная весна мирного Парижа.

Вон доказывает что-то кому-то острый на язык молодой Эренбург, человек, который позднее то ли обманул судьбу, то ли разменял талант. А вон пришел уже преуспевающий испанец Пабло Пикассо и с ним неизменный Ортис де Сарате.

Вон и скульптор Осип Цадкин пришел с верной своей спутницей, огромной собакой Калуш, — загоняет собаку под стол, чтоб не злить добрейшего хозяина “Ротонды”, весьма, впрочем, снисходительного к художникам.

Вон и еще два скульптора, тоже русские, — Оскар Мещанинов и Жак Липшиц, и Мария Васильева с ученицей, и поэт Марк Талов.

А вон и еще обитатели “Улья” — лихой то ли индеец, то ли ковбой Грановский, рубаха-парень (до самого нацистского крематория дотянет на Монпарнасе), и знаменитый “Кики”, Кислинг, монпарнасский завсегдатай, по нему утром можно часы ставить — в шесть Кислинг идет из бара (но писать все же успевает и уже вошел в моду).

Рядом с Кислингом — мулатка Айша, манекенщица, его и многих верная подруга, экзотический цветок Монпарнаса.

Есть и вторая, Кики, еще ярче звездочка, хотя и белянка. В один прекрасный день она сама взялась за кисть, и оказался талант (кто ж сомневался?). Потом написала мемуары. Потом стала певицей. Говорят, что потом фашисты ее расстреляли “по подозрению...” (таланты и у красных и у коричневых на подозрении).

Вон старики пришли — Андре Дерен, Отон Фриз, Шарль Герен. Японец Фуджита с серьгой в ухе, важный, молчаливый, изредка перекинет-ся двумя-тремя словами с денди в фетровой шляпе и красном шарфе, тосканцем Модильяни.

Этот, последний, с неизменным своим синим блокнотом, пока трезв, говорит мало — все время рисует. Иногда вдруг остервенело рвет прелестный рисунок, чем-то не дотянувший до ему одному известного уровня. Ищет глазами новую модель, потому что без контакта с человеческим лицом, душой, фигурой — писать не может. Для него нет ничего в мире, кроме этого венца творенья — человека.

Огляделся вокруг — и вдруг замер изумленно... Лицо... И какое лицо... Молодая женщина... Откуда? Женщины тут вообще редки, но такие и вовсе... Она ощущает этот взгляд, подошла, села напротив. Они заговорили... Где был в это время Гумилев? Может, отошел взять кофе, рюмку вина. Когда вернулся, он все понял и пришел в ярость — этого он ждал, этого опасался все время...

Она-то сразу, как вошли, заметила этого красивого человека в красном шарфе. Через полвека рассказывала об этом мгновенье многим — всякий раз по-разному. Рассказывала и писала, что он “был совсем не похож ни на кого на свете”. Рассказывала, что “все божественное” в нем “только искрилось сквозь какой-то мрак”. Рассказывала, как впервые за-

Амедео Модильяни (слева), Ортис де Сарате и Пабло Пикассо на Монпарнасе, 1915г. Фото из парижского архива Модильяни.



метила красивого, бледного человека в красном шарфе... Рассказывала, что ее поразил его голос (о котором она потом столько раз писала в стихах). По-разному вспоминала. Скажем, такое: “Думаю, какой интересный еврей... А он думает, какая интересная французженка...” — это уже из поздних, повторявшихся (но часто противоречивших друг другу) рассказов, из тех, что подруга Надя называет “пластинками”, и это, конечно, была выдумка.

Может, их представил тогда друг другу кто-нибудь из русских (скажем, Мария Васильева или Осип Цадкин). Это не так важно в конце концов. Теперь нужно было заговорить. Кто заговорил первый? Она вспоминает, что его поразило ее умение читать мысли, уменье, о котором “все знали” (где знали — в Царском Селе, в Киеве?).

Наверно, она сказала: “Как только вы можете работать в таком аду?” А он отозвался (он часто так говорил, и Леопольд Сюрваж даже записал в свой блокнот эту его жалобу): “Да, вы угадали... Здесь тяжело... моя страна Италия, где все дышит искусством... Флоренция... Или родной мой город Ливорно... Меня тянет туда. Счастье там, и там здоровье... Но живопись сильнее... А только в Париже я могу работать. Справдаться, быть несчастным, но работать...”

Он не сказал — погибнуть, но слово это могло прийти ей в голову. Какое сердце не дрогнет при такой исповеди? Она взглянула на его стакан, и он кивнул, сказал с вызовом: “Алкоголь отгораживает от всего... Убодит внутрь самого себя... Я пью не для веселья. Это тоже для работы...”

Он оборвал линию в блокноте. “Покажите”, — сказала она. Она так хотела увидеть, что там... К ее ужасу, он вдруг стал с остервенением рвать лист, выдернув его из блокнота. “Да, да... — сказала она вдруг, — мои старые стихи... Я тоже...” Он поднял голову, и она поняла, что слово “стихи” для него не безразлично. “Мой муж поэт”, — сказала она гордо. Но он даже не повернул голову к подошедшему Гумилеву. Гумилев сказал по-русски, что пора уходить из этого сарая. Что и так уж они слишком... Точнее, она слишком... Модильяни вдруг заговорил, ни к кому не обращаясь. Голос у него стал обиженным, сварливым. Он сказал, что это низость говорить при нем на языке, которого он не знает. Что ни один из его русских друзей так бы не поступил. Что он никому не позволит... На них теперь смотрели с любопытством. Все знали, что когда у Модии такой голос... “Нам надо идти”, — сказала она, поспешно вставая. Гумилев улыбался — он-то знал, что этим кончится. Модии вдруг притих. “Мне нужен ваш адрес”, — сказал он с отчаяньем, — я все объясню. Вы ничего не поняли...” — “Я принесу адрес”, — сказала она. — Я еще зайду...”

Гумилев смотрел на нее с отчаяньем. Он уже знал, что ее не оставит ничто. Она сделает все, чего ей захочется. Свободная женщина, свобода, борьба за свободу — Боже, какая тоска... Она будет сидеть бледная и страдальчески молчать, когда они придут в отель, и им снова нечего будет делать друг с другом...

У нас, как точеные, руки,
Красивы у нас имена?
Но мертвой, томительной скуке
Душа навсегда отдана.

Позднее она рассказывала, что у Гумилева произошла какая-то ссора с Модии из-за того, что Гумилев говорил в его присутствии по-русски, что Модильяни был пьян. Когда и где это было, она не уточняла, она вообще почти никогда не говорила о том, что знал и что думал обо всем этом Николай Гумилев.

Через полвека в своих очень сдержанных воспоминаниях (о ее чувствах там ни слова) она написала, что они виделись с Амедео в 1910 году, но тогда она “видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз”. Легко понять, что ей, при всем ее своеволии, нелегко было ухаживать одной, без молодого мужа в этом странном “свадебном путешествии”.

Где она виделась с Амедео, что было между ними?.. Иные искусствоведы датируют ее “ню” 1910 годом.

Он писал ей “всю зиму” безумные письма, из которых она “запомнила несколько фраз”, а гласности предала две фразы, и впрямь влюбленные...

Париж